

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Ильф и Петров

Поездки и встречи

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

ИЛЬЯ ИЛЬФ и ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

ПОЕЗДКИ И ВСТРЕЧИ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

*Редакция журнала «Огонек» выражает искреннюю благодарность
Александре Ильичне Ильф и Илье Евгеньевичу Катаеву за помощь в
подготовке переиздания книги.*

Печатается по изданию 1936 года.

НАЧАЛО ПОХОДА

Мы сидели в Севастополе, на Интернациональной пристани, об адмиральские ступени которой шлепались синенькие волны Н-ского моря (мы умеем хранить военную тайну). Было утро. Голубой флот стоял в бухте.

Боевые башни линкора «Парижская коммуна» светились на солнце. Подальше расположились корабли бригады крейсеров. Эсминцы стояли у стенки. Все это вросло в море, было неподвижно. И сама бухта, казалось, задремала, усыпленная последним октябрьским теплом, частыми звонками склянок и свистом боцманских дудок.

Между тем в бухте происходило незаметное сразу и лишь постепенно становившееся явственным движение. Вдруг показалась подводная лодка, скрытая до сих пор одноцветной с ней массой дрейфующей. Она направлялась к выходу в море, переговариваясь с кем-то флажками. Оказалось, что и учебный корабль «Коминтерн» начал медленно выдвигаться из-за крейсера «Червона Украина». Вышли из солнечного сверкания, последовательно развернулись и со звоном стали подниматься на воздух гидросамолеты. И не успели они исчезнуть за уходящими в гору домами, как оттуда же, из-за домов, вылетело другое звено. Оно прогремело над железными балконами Ленинского проспекта, над Приморским бульваром, над белыми колоннами пристани и, выключив моторы, стало садиться на воду. У бетонной набережной водной станции неторопливо стучались бортами ялики, поднимаемые маленькой волной. Обшарпанный пароходик под названием «Девятый», забрав пассажиров, пошел на Северную сторону. «Коминтерн» был уже далеко в море. А подводной лодки и совсем не стало видно. От пристани Совторгфлота обильно побежала зеленая пена. Выехала высокая толстая черная корма с золотыми украшениями и белой надписью «Грузия. Одесса». На корме, напирая друг на друга, теснились взволнованные отплытием, гудками и запахом водорослей пассажиры. Они что-то кричали вниз провожающим. Выделялся один пронзительный голос: «Яйца на дне корзинки!» Сразу стало тесно и как-то беспорядочно. Закачались на воде арбузные корки, обрывки газет, селедочные

скелетики. Теплоход показался весь с его спасательными лодками, уличными электрическими фонарями у трапов, тентами, шезлонгами и старым капитаном с золотыми шевронами на рукавах белого кителя. Из бортовых отверстий теплохода с шумом били струи отработанной воды.

Но вот веселая курортная «Грузия» ушла наконец, и в бухте снова открылись зловещие, неподвижные очертания военных судов.

— Не хотел бы я встретиться с такой эскадрой в темном переулке.

Это сказал писатель. Пиджак сидел на нем столь прихотливо, словно под ним находилось не дивное человеческое тело, а кактус.

Командиры, поджидавшие свои баркасы и катера, засмеялись. Так произошло знакомство.

— Вы что ж к нам, в качестве Гончарова? — строго спросил молодой командир.

— Так точно, на фрегат «Красный Кавказ».

— Что-то вас много. Сразу три Гончарова.

— Один — художник.

— Ага, значит, два Гончарова и один Верещагин.

— Почти что Верещагин.

— Ну что ж, давайте, давайте.

Пустив крутую волну к пристани, подскочил баркас и забрал всех. Последним сел Морозов, редактор «Красного черноморца». Из кармана у него торчал кончик наспех засунутого галстука. В руках редактор держал запеленутый в простыню штатский костюм.

— Вот что, ребята, — смущенно говорил он, — костюмчик у меня ничего, только что из швальни. И галстучек ничего. Но вот шляпа у меня, ребята, хреновая. Как я ее за границей буду носить — не знаю. Никогда в жизни шляпы не надевал.

Отряд кораблей Черноморского флота шел с визитом в Италию. По дороге он должен был посетить Стамбул и Афины. В отряд были назначены крейсер «Красный Кавказ», эскадренные миноносцы «Петровский» и «Шаумян» и три подводные лодки. Лодки уже ушли, и рандеву с ними должно было произойти у входа в Босфор.

В походе нам предстояло находиться на «Красном Кавказе».

Баркас дал полный ход. За его кормой сразу встал шевелящийся пенистый вал. Никто не садился на скамьи, все моряки стояли. Это такой стиль — стоять в баркасе. Мы, привычные трамвайные пассажиры, поспешили занять свободные места. Мы еще не почувствовали военно-морского стиля; но впоследствии вошли во вкус и уж обязательно стояли. Идешь как-нибудь ночью последним рейсовым баркасом с пристани Фа-

лерон на свой корабль, и ведь набегался за день невероятно, ноги раскаты и болят, и все-таки не садишься — стоишь, как какой-нибудь капитан Гаттерас, не сводя взгляда с приближающихся огней крейсера. А греческая ночь черна и тепла, а греческие звезды — это толстые звезды. И далеко позади, на высоком холме, остывает нагретый за день мрамор Акрополя.

Но все это было еще впереди. Сейчас мы подходили к «Красному Кавказу», дивясь на его неожиданно большие вблизи размеры. Мы втащили чемоданы по трапу и остановились на палубе. Вахтенный начальник взял под козырек и прочел наши бумаги.

— Хорошо, — сказал он, — сейчас вас проведут в каюту. Только осторожней, не запачкайтесь, сегодня кончили краситься.

Берег за «Красным Кавказом» был высокий и пустынный. Дул освежающий ветер, чайки пищали на воде. Краснофлотец повел нас к кормовой надстройке.

— Тут крашено, — сказал он, когда мы подымались наверх, — не запачкайтесь.

Затем мы стали протискиваться между орудийной башней и каютой радистов. Из иллюминатора показалась голова в радионаушниках:

— Осторожней, товарищи, запачкаетесь, краска еще свежая.

В каюте были две металлические койки, одна над другой, два железных шкафа, выкрашенных под дуб, железный письменный стол (под дуб), умывальник с зеркалом, вешалка и железная полочка. Полочка тоже была разрисована под дуб. Чья-то домовитая душа на верфи решила придать бесчувственному металлу добродушный семейный вид. Из-за этого мы никогда не могли привыкнуть к боевой обстановке каюты, вечно стукались коленками о гремящие железные тумбы письменного стола и ходили в детских синяках и ссадинах. В одном из шкафов висела кожаная авиационная шуба на меху. Мы не придали этому значения. Шуба так шуба. Пусть висит.

Испытывая, как говорят дипломаты, чувство живейшего удовлетворения, мы вышли из каюты. На мостике кормовой надстройки стоял командир. Он посмотрел на нас с печальным любопытством. На рукаве его парусинового рабочего кителя были вышиты авиационные крылышки. За его спиной, на нашей палубе (все, что находилось на одной плоскости с каютой, которую нам отвели, мы уже считали своим), виднелся самолет.

Сопоставив все эти обстоятельства — крылышки на рукаве, печальный взгляд, самолет на палубе и шубу в шкафу, — мы сообразили, что заняли каюту летчиков.

— Вы смотрите, товарищи, не запачкайтесь, — сказал летчик с необыкновенной грустью, — каюта только-только покрашена.

— Мы, кажется, заняли ваше место? Это ваша шуба там висит?

— Что вы, что вы, пожалуйста. Я уже поместился в другой каюте, рядом с вами. А шуба пусть повисит. Она вам не мешает?

Неловкость положения была смягчена появлением вестового.

— Товарищи писатели, — прокричал он, — старший помощник приказал передать, что если кто из вас запачкается, то в кают-компанию есть бензин!

— Спасибо, товарищ, пока еще не требуется.

Но, осмотрев друг друга, мы увидели на костюмах голубые пятна и полоски. С этой минуты мы стали пожирать бензин в дозах, потребных разве только автомобильному мотору, потому что военный корабль всегда в каком-нибудь месте да подкрашивается. Морякам это не страшно. Но мы, береговые люди, привыкшие всегда на что-нибудь опираться и к чему-нибудь прислоняться, постоянно бегали в кают-компанию за горючим.

Теперь нечего скрывать. Мы сделали много ошибок и больше всего в первый вечер. Стояли на юте без шляпы, облакачивались на поручни, плевали за борт и за борт бросали окурки. Нельзя ходить по кораблю без головного убора, не полагается. Нельзя бросать окурков за борт — их может снести ветром назад, и корабль запачкается. По этой же причине не годится плевать. Не принято и облакачиваться: корабль — это не дом отдыха, и совершенно не к чему принимать изящные пассажирские позы.

Относительно головных уборов нам вежливо заметили, что мы можем простудиться, если будем ходить без них. По поводу всего остального не было сделано даже такого косвенного замечания. Мы поняли это сами, но не скоро. Примерно в Дарданеллах закончился процесс нашего морского воспитания. А вот где нам стоять во время посещения корабля официальными лицами, мы так и не узнали. Приходит в голову мысль, что в таких случаях на военном корабле для людей в пиджаках и шляпах вообще нет места.

Сейчас мы отчетливо представляем себе то мрачное отчаяние, которое охватывало душу старшего помощника во время торжественного приема.

Блестящая картина. «Красный Кавказ» стоит в иностранном порту. Команда выстроена. К кораблю мчится адмиральский катер. В нем сидит красивый старик в треугольной шляпе, в золотых эполетах, с голубой лентой через плечо. Стреляют пушки. Оркестр играет встречу. Все в пол-

ном порядке. Все голубое, синее и белое. Старпом поднимает голову, чтобы бросить последний начальствующий взгляд, и вдруг на самой высокой площадке кормовой надстройки видит трех человек в разноцветных пиджаках и мягких шляпах набекрень. Их галстуки развеваются. Они с увлечением разговаривают, размахивают руками и вырывают друг у друга бинокль, чтобы получше разглядеть подъезжающего адмирала. Что делать? Галстучно-пиджачная группа невыносима для морского глаза. Надо молниеносно принять решение. Гостеприимство борется с суровой необходимостью. И вот найдена замечательная формула: «Всем перейти на левый борт».

Это, конечно, значит, что всем оставаться на местах, а нам действительно перейти на левый борт. Там нас никто не увидит, там мы не будем портить картину.

Вечером кают-компания наполнилась вернувшимися с берега командирами. Шли последние приготовления к походу. Все были очень заняты, все работали. Даже парикмахер открыл свою каюту, пустил вентилятор, надел белый халат и принялся стричь, брить и прыскать одеколоном.

Когда мы, взбудораженные первым днем на корабле, возлегли, наконец, на свои койки, на нашем мостике послышались шаги и веселое мурлыканье — «О, эти черные глаза та-рам-та-ра-а-ра». В открытой двери, заслонив собой севастопольские огни, появилась фигура с чемоданом. Вошедший с громом поставил чемодан на стол и, беззаботно пропев «меня плени-и-ли», внезапно замолчал. Мы притаились, как мыши.

— Что за ч-черт! — послышался изумленный голос.

Пришелец схватил чемодан и выскочил наружу. Мы успели все-таки заметить на его рукаве два серебряных крыла. Это тоже был летчик, но не тот, с которым мы уже познакомились, а другой. Из соседней каюты послышался шепот:

— Кто такие?

— Писатели.

— А шуба там?

— Шуба там.

— Ну пусть живут. «О, эти черные глаза-а». А в кают-компании еще один лежит на диване, толстенький, в очках. Тоже писатель?

— Художник.

— Значит, рисовать. «Меня плени-и-ли». Бежал со всех ног, чуть на последний баркас не опоздал. Сегодня на Приморском бульваре состоялся прыжок смерти, выступал один артист московских и ленинградских цирков. Ничего работает. Ну, послезавтра Стамбул! Приказ наркома поднять

флаги в Стамбуле ровно в девять утра.

Это была последняя ночь в Севастополе. Следующая ночь пройдет в открытом море, на пути в Босфор.

Завидное ощущение — проснуться утром от мысли, что происходит что-то хорошее и необыкновенное, чего никогда в жизни еще не бывало. Скорей одеваться! Ко мне, мои верные брюки!

Красное солнце висит в тумане над темно-фиолетовым берегом. Оно только что взойшло и его еще можно рассматривать, не щурясь. Предметы еще не отбрасывают теней. В такой час полагается быть утренней свежести, но на нашем мостике тепло. Как раз под нами, из брезентовых вентиляционных рукавов, дует горячий машинный воздух. Таким образом нас омывает воздушный Гольфштрем. Вода за ночь вышколаена так, что в своей преданности портовым властям не производит даже всплеска. И в полной тишине в бухту на веслах входит рыбацкий парусник с повисшим гротом. Такое состояние утра длится недолго, цвета быстро меняются.

Фиолетовый берег сделался красным, а потом пожелтел. Вода в минуту переменяла четыре зеленых оттенка и задержалась на полдороге к голубому. Солнце выпустило первый тончайший луч, и в сиреновой мгле Севастополя на какой-то крыше сразу зажглось стекло. От Инкермана к городу потянулся выпуклый дым, брошенный торопливо пробежавшим локомотивом. Дым стал розовым, потом белым. Быстрее стали выступать из тумана далекие суда и городские строения. Обозначались серые гладкие стены и трибуна водной станции. На Малаховом кургане засверкали стеклянные перекрытия круглого циркового здания Севастопольской панорамы.

Уже нельзя было смотреть на солнце. Начинался симфонический финал утра. Вступали все новые группы отражающих свет окон и иллюминаторов. Заблестели медные части на военных кораблях. Осветилось море. Ни на что уже нельзя было смотреть. Мир превратился в сплошное сверкание. Ударили тарелки и барабаны. Оркестры встречали командующего, который объезжал корабли, назначенные в поход. Командующий простился с краснофлотцами, пожелал им счастливого плавания и помчался на берег. Последний раз качнулись медные трубы оркестров, в последний раз чья-то верная жена махнула с белой пристани платком. Корабли снялись с якорей и бочек и вышли в море.

Еще Севастополь не скрылся с глаз, как на юте показался Морозов. Перескакивая через струи воды, бившие из шлангов (крейсер снова скребли и мыли, хотя и до этого он был чист, как голубь), он приблизился и, выставив вперед большой палец правой руки, сказал:

— Вот что, ребята. Надо, надо, надо, надо, надо, надо.

— Что надо?

— Надо, надо, ребята. Не годится. Газету надо выпускать.

— Не рано ли? Еще не накопился материал.

— Как не накопился? Уже накопился. Надо, надо, ребята.

И он потащил всех к себе в каюту. Там уже сидел в расстегнутом кителе командир Жученко. Большой настольный вентилятор гнал на него прохладный воздух. Жученко что-то бормотал, изредка косясь на свою волосатую пиратскую грудь. Перед ним лежал чистый лист бумаги. Морозов засадил командира писать стихи для походного выпуска газеты «Красный черноморец».

— Ну что, нашел рифму на «вымпел»?

— Найдешь ее! Тут сам Пушкин не срифмует.

— Не валяй дурака, Жученко, — бессердечно сказал Морозов. — При чем тут Пушкин? Сам знаешь, кроме тебя некому. Пиши, пожалуйста.

Жученко с тоской посмотрел в иллюминатор, за которым стремительно и близко неслась вольная вода, и зашептал:

— Вымпел — пепел. Нет. Вымпел — румпель. Тоже нет. Вымпел — шомпол. Знал бы такое дело, не поехал.

Пришли военкоры в брезентовой рабочей форме. Все поспешно закурили и расселись кто как смог — на койке и по двое на одном стуле. Морозов начал выжимать материал. Газета должна быть выйти к утру, к приходу в Стамбул.

— Вот что, ребята, — сказал Морозов, — завтра входим в соприкосновение с капиталистическим миром. Во-первых, надо отразить переход, работу личного состава. Есть известие с эсминцев, что они объявили друг с другом соцсоревнование. Подробности получим по семафору. А у нас как в машинном отделении? Как работают механизмы? Это же все надо отразить, товарищи. Надо, надо, надо. Кто напишет? Раскачивайтесь, ребята. Фельетончик нам подкинут товарищи писатели. А вот кто будет писать привет дружественному турецкому народу? Может, Жученко? А, Жученко?

— Вымпел — пепел, — отозвался командир.

— Дался тебе этот вымпел. Замени чем-нибудь.

— Жалко. Уже первая строка есть.

Крейсер жил бесконечно разнообразной жизнью. Он уносил вперед свое громадное тело, в котором все было приспособлено к одной цели, подчинено одной задаче — стрелять!

Хорошо стреляют в Черноморском флоте.

То есть когда стреляют хорошо, — это у них считается плохо. Извините, но это не каламбур. Считается хорошо, когда стреляют отлично.

Кстати, во флоте говорят: «на хорошо» и «на отлично». Там вообще говорят по-своему.

На боевом учении, после трудной ночной стрельбы, командующий морскими силами Черного моря приказал выстроить краснофлотцев и сказал им:

— Я должен вас огорчить, товарищи. Вы стреляли «на хорошо».

Стрелять, стрелять! Стрелять как только на свете возможно точно и быстро — это так проникло в сознание краснофлотцев, что когда одного корабельного кока спросили, какая задача является для него главной, он, не задумываясь, ответил:

— Огонь!

Удачный ответ. В одном слове кок сумел объединить и общую боевую задачу всего флота, и свою узкую, специальность — поддерживать огонь в камбузе.

Отряд давно уже шел в открытом море.

Свободные от работы краснофлотцы затверживали турецкие, греческие и итальянские слова из специально выпущенного к походу «Словарика наиболее употребляемых слов». Зубрили на все Черное море:

— Дайте мне стакан воды. Сколько жителей в этом городе? Хорошо ли вам живется? Нам живется хорошо.

— Здравствуйте — мерхаба. Прощайте — смарладък.

— Синдрофос — товарищ, арнадаш — товарищ, кампаньо — тоже товарищ. По-гречески, по-турецки, по-итальянски.

У нас была своя книга — «Русско-французские разговоры для употребления в школе и в путешествии».

Не знаем, как в школе, но в путешествии она могла поставить путника только в дурацкое, двусмысленное положение.

Вот глава под названием «Встреча друга».

А.: Как, это вы? Вы взаправду?

Б.: Это я сам.

А.: Вы меня поразили. Я не ожидал вас здесь встретить. Я ожидал вас утром, в два часа пополудни, поздно вечером, вечерком. Когда вы возвратились?

Б.: Я прибыл вчера вечером.

А.: Как вы прибыли?

Б.: Я прибыл на трамвае, по железной дороге, в телеге, пароходом, omnibusом, в лодке, в кабриолете, на велосипеде.

А.: Я забыл осведомиться о вашем дядюшке.

Б. (*как видно, замогильным голосом*): Он очень, очень несчастлив, он потерял все свое состояние.

А.: Как! Неужели? Возможно ли это? Может ли это статься? Может ли это быть? Кто бы это подумал? Этого я никогда бы не подумал. Как это могло статься? Это невозможно. Это не может быть. Это меня очень удивляет. Это непонятно. Это невероятно. Это даже нечто совсем неслышанное.

Б. (*не обращая внимания на кудахтанье А., еще более замогильно*): Знаете ли вы, что отец г-на Х. только что умер?

А. (*приходит в страшное возбуждение*): Это меня очень огорчает. Это меня чрезвычайно огорчает. Я безутешен. Это приводит меня в отчаяние. Какая жалость. Это очень жаль. Это очень неприятно. Это очень печально. Это очень досадно. Это очень оскорбительно. Это очень жестоко. Это в высшей степени страшно. Это огромное, громадное несчастье. От этого волосы могут стать дыбом!

Б. (*громовым басом*): Говорят, его старший сын причинил ему много горя.

А. (*лопочет*): Какой срам! Не стыдно ли ему! Это правдоподобно. Это более чем правдоподобно. Ничего нет правдоподобнее. Это удивительно. Это бог знает что. Это черт знает что!..

Б. (*сообщает очередную новость*): Его мать также скончалась от потрясения (недовольства).

А. (*заводит свою машинку*): Может ли это быть? Это не может быть. Это может быть. Этого не бывает. Это бывает часто, частенько. Вы меня заинтриговали. Вы доставили мне громадное, порядочное удовольствие. Я покорнейше вам благодарен. Я по крайней мере рад (доволен). Я в восторге. Я в значительной степени удовлетворен. Я ликую.

Б. (*холодно*): До свидания. Добрый вечер. Доброй ночи.

А. (*беспечно чирикает*): Здравствуйте. Доброе утро. Счастливо остается. В добрый час. Добрый полдень. Хорошо ли вы позавтракали? Не сообразовали ли познакомиться с моей женой и тремя малолетними сынами?

Б.: Я чувствую удушье. Мне значительно плохо. Я чувствую себя неважно. Меня оставляют силы. Я умираю (задыхаюсь).

А. (*галдит*): Что с вами? Вы больны? Посмотрите на себя, на кого вы похожи. На вас лица нет. Вы побледнели. Вы совсем белый. Вы стали синий. Это жутко. Это неосмотрительно. Вы недостаточно следите за своим здоровьем. Обратитесь к врачу-специалисту.

Б. *(неожиданно оживая)*: Я хочу применить к себе водолечение. Во сколько франков обходится сеанс?

Здесь глава «Встреча друга» естественным путем переходит в следующую главу — «У доктора».

Вечером, когда командиры в кают-компании со страшным стуком играли в домино, на крейсер стали валиться с неба летевшие в Африку усталые птички. Изнеможенные, они падали на палубы, залетали в люки, садились на боевые башни. Вахтенные брали их в свои большие наждачные ладони и отогревали в карманах, пропахших смолой и свежим канатом.

Могучие машинные силы мерно дрожали внутри на диво склепанной корабельной коробки, легко увлекая «Красный Кавказ» вперед. Позади неотступно светились зеленые и красные огни эсминцев.

И днем, и вечером всюду можно было увидеть Морозова с поднятым вверх большим пальцем правой руки.

— Вот что, ребята, — говорил он, рассеянно засовывая крошечную птичку в тесный боковой карман кителя, — надо сделать какой-нибудь такой уголок юмора с самокритикой. Надо, надо.

А ночью он пропал совсем.

Утром, таким же свежим и чистым, как в Севастополе, отряд соединился с подводными лодками и вошел в Босфор.

Мы увидели маленькие города, спящие над голубой водой, такой голубой и теплой, что не верилось, будто она может быть соленой. Циклопические круглые башни старинных крепостей стояли над проливом. Побужденно махали советским кораблям светлыми шляпами. У самого крейсера, на парусной шаланде, показался любопытствующий рыбак в мягкой шляпе и жилетке на голое тело. Ноги его по колено уходили в живую шевелящуюся рыбу. Это были большие нежные синеватые рыбы торпедного вида и блеска. Тоненький звоночек послышался с берега.

— Трамвай, трамвай! — закричал кто-то таким же взволнованным голосом, каким матросы Колумба кричали «Земля, земля!»

И сразу же раздалась оглушительные, лопающиеся выстрелы салюта нации. Крейсер окутался дымом. Полетели обгоревшие ключья пыжей. Между выстрелами проскакивали парадные такты оркестра. Навстречу «Красному Кавказу», приподняв над головой котелок, мчался в катере советский консул. Отряд бросил якоря против мраморного дворца Дольма-Бахче.

Минуту была тишина. Над малоазиатским берегом показались дымки турецкой батареи, и, погода немного, донеслись приглушенные расстоянием звуки ответного салюта.

С последним выстрелом на кормовой надстройке появилась фигура Морозова. Бледен и утомлен он был чрезвычайно. Всю ночь редактор провел в типографии, зато нес сейчас кипу только что выпущенных номеров «Красного черноморца».

— Вот что, ребята, — начал он и сразу же остановился, глядя вперед себя.

Перед ним лежал Стамбул.

Город захватывал половину горизонта. Он был громаден. Все в нем было перемешано — дома и минареты, башни и банки, купола и мачты судов, стиснутых между берегами Золотого Рога.

— Вот что, ребята, — снова начал Морозов, — городок хорош, надо делать второй номер «Черноморца». Тема — ребята на берегу. Можно сказать, для них это экзамен политической зрелости. Надо, надо делать. — Он даже приврал, как это делают все опытные редактора:

— Машины стоят, — сказал он, — честное слово. Типография прогуливает.

Пока рассматривали газету, Морозов стыдливо заглядывал через плечо и бормотал:

— Вы не смотрите на рисунки. Техника клише у меня пока что хреновая. Пришлось делать гравюру на линолеуме.

На самом деле газета была хорошая, дай боже многим профсоюзным органам. Напечатана чисто, телеграммы — последние, полученные по радио, жизнь корабля освещена, передовая короткая и ясная. Был и фельетон. А что касается рисунков, то ничего хреноватого в них не было, просто Морозов зарвался, перескромничал. Стихотворения не было. Действительно, Жученко поставил себе невыполнимую задачу — срифмовать слово «вымпел».

К крейсеру подплыл первый частник в лодочке с плюшевым сиденьем и бомбошками. Его не подпускали к трапу, он лез, вахтенный старшина отмахивался от него своей медной дудочкой. Но розовая надежда не покидала частника, и он тихо плавал вокруг корабля, обещая взглядом неисчислимыя выгоды и показывая жестами, на какую громадную скидку он способен из уважения к клиентам.

Краснофлотцы, готовясь съехать на берег, бесконечно чистили друг друга щетками и сдували с рукавов пылинки.

ДЕНЬ В АФИНАХ

Голубой советский крейсер стоял на открытом рейде против дачной пристани Фалерон. Слева, за мысом, густо покрытым белыми и розовым и домиками, находился порт Пирей. Справа, на высоком холме, виднелся афинский Акрополь. Был конец октября. Светило сильное солнце, дул африканский ветер, и поднятая им древняя пыль создавала легкую мглу.

В семь тридцать от корабля отвалил первый рейсовый баркас, и началось регулярное сообщение с берегом.

Стремительно приблизилась курортная деревянная пристань на тонких металлических опорах, баркас развернулся и, закачавшись на собственной волне, причалил к лестнице. На пристани людей было мало — наш сигнальщик с флажками, несколько загорелых полицейских и два караульных греческих матроса в белых шапочках набекрень и темносиних шароварах, стянутых у щиколотки.

По всему было видно, что дачный сезон уже окончился. Видно, так уж устроено во всем мире, что дачные сезоны, независимо от климата, кончаются в сентябре. Стоял сухой и жаркий день, небо было чисто, нагретые волны неторопливо шлепались о берег, а на пустынной желтой дорожке уже по-осеннему волочилась брошенная кем-то газета. У двери ресторана, скрестив на груди руки, стоял официант в белом фартуке и печально смотрел на пустые мраморные столики. Под стеной лежали в штабелях складные железные стулья. По календарю сезон окончился, и никакое солнце не могло его вернуть.

На берегу толпились фалеронцы. К пристани их не подпускали. Исключение было сделано только для трех штатских типов в светлых грязноватых шляпах. Они внимательно рассматривали высаживающихся краснофлотцев. Эти почтенные господа молча крутили свои усы. При этом на их пальцах мутно поблескивали серебряные перстни с неестественно большими бриллиантами.

Один из штатских снял шляпу и радостно нам поклонился:

— Вы красные офицеры? — спросил он по-русски. — Мы вас так ждали! Он подошел совсем близко и, конспиративно оглянувшись на полицейских, прошептал:

— Греческий пролетариат стонет под игом капитала. А?

Мы вздрогнули и в смятении двинулись дальше. Лицо нового знакомого сияло, и он с нежностью смотрел нам вслед. Мы уже спускались в подземный вокзал, чтобы ехать в Афины, а он все еще стоял на пристани и приветственно размахивал шляпой.

Что может быть дороже сердцу путешественника, чем первые минуты и часы, проведенные в стране, где до сих пор никогда не был и о которой еще ничего не знаешь? То есть знаешь из книг, что Акрополь стоит на возвышенном месте, но не знаешь, что эта возвышенность представляет собой раскаленную солнцем отвесную скалу, под которой глубоко внизу лежат Афины, и что мраморы Парфенона — желтые, обветренные, шероховатые, а не белые и гладкие, как думалось всегда; прекрасно знаешь, что Афины — это столица Греции, расположенная в восьми километрах от Эгинского залива, но разве думал, что будешь ехать от этого залива в эту столицу в старомодном электрическом поезде, в котором есть первый и третий классы, но почему-то нет второго, и что рядом с тобой на скамье будет сидеть громадная гречанка в черном платье с голыми руками, толстыми, как ноги, что из окна вагона будет видно асфальтовое шоссе, по которому сперва проедет старый, еще военных времен, заново выкрашенный грузовик с английской надписью «Стандард ойл», потом пройдут ослики, нагруженные плетенками с овощами, что навстречу поезду помчатся каменные заборы, огороды, кипарисы, иногда пальмы, одноэтажные домики и что, наконец, пройдя предместье, поезд уйдет под землю, чтобы прибыть к конечной станции под площадью Омония?

Поднявшись на площадь, мы стали осматриваться. Полицейский в белых нарукавниках до локтя торжественно управлял не очень оживленным движением, в многочисленных киосках торговали соленым миндалем в прозрачных пакетиках, инжиром, башмалой и лезвиями «жилетт». Еще в Стамбуле нам рассказывали, что в Афинах лезвия стоят неслышанно дешево и что сам господин Жилетт со своими глупыми пушистыми усами не может понять, как это афинские ларьки умудряются торговать его бритвами дешевле, чем они обходятся ему самому. Мы тоже удивлялись. Удивлялись и покупали. Вскоре, однако, секрет афинской торговли и промышленности раскрылся. Лезвия были действительно настоящие и очень дешевые, но, к несчастью, уже бывшие в употреблении по меньшей мере раз по тридцать.

Это мы узнали впоследствии, а сейчас во все глаза смотрели на магазинные вывески. Такие вывески могут только присниться. Весь греческий алфавит составлен из русских букв, есть даже фита, но понять ничего невозможно. Из-под вывесок выбегали частники и приглашали «зайти и убедиться». В окне эмигрантского ресторанчика «Волга» стояла тарелка с борщом и было вывешено меню: «Борщ малороссийский, битки новороссийские».

Но, несмотря на борщ, гимназическую фиту, одесский запах каленых орехов и каштанов, несмотря на батумско-тифлисский вид чистильщиков сапог с их ящичками, обитыми медью, — это был совершенно чужой теплый мраморный город, окруженный голыми розоватыми холмами.

— Как вам нравятся Афины? — раздался крик.

С противоположного тротуара к нам пробирался тот самый человек в грязноватой шляпе, который заговорил с нами на пристани. Он горячо пожал нам руки и поспешно сказал:

— Вы не думайте, что я хочу на вас что-нибудь заработать. Я очень люблю русских. Я сам жил когда-то на Кавказе. Меня зовут Константин Павлидис. Правда, паршивый город Афины?

Мы не успели ответить.

— Тут такой страшный кризис, — продолжал он радостно, — всюду такой капиталистический гнет. Может быть, вам надо что-нибудь купить? Я могу вас повести. Тут один капиталист обанкротился, знаете, буржуй, и объявил распродажу. А если не хотите покупать, то пойдем просто полюбуемся на его разорение.

И, растолкав собравшихся вокруг нас продавцов, размахивавших палками, на которых висели длинные ленты неразрезанных лотерейных билетов, он потащил нас в какой-то магазин. Мы полюбовались на пожилого грека, стоявшего за прилавком, на тощие стопочки сорочек, на какую-то галантерею и в недоумении вышли на улицу.

— Ну что? — хохоча, спросил Павлидис. — Видели буржуя? Скоро мы их всех передушим. Хотите, я познакомлю вас с нашими? А? Может быть, нужно передать какие-нибудь прокламации, литературу? А?

Мы, конечно, подозревали, что в Афинах не ахти какая передовая охранка, уж во всяком случае не «Интеллидженс сервис», но такого продюшья и южной беззаботности все-таки не ждали.

Мы торопливо вскочили в автобус, не попрощавшись с Павлидисом. Он нисколько не обиделся и снова приветственно помахал нам вдогонку шляпой.

Нам попался странный автобус. Почти все его пассажиры и даже кондуктор были в трауре. Озадаченные этим, мы стали присматриваться.

Оказалось, и на улицах прохожие по большей части носили нарукавные креповые повязки. Что бы это могло значить?

Автобус остановился напротив кофейни. На тротуаре за мраморными столиками сидели люди. Одни играли в нарды, другие резались в карты, бросая их на специальную войлочную подстилку, одни пили кофе из маленьких чашечек, другие — чистую воду, а перед каким-то толстяком, как видно, отчаянным кутилой и прожигателем жизни, стояла высокая стопка пива и лежала на блюдечке закуска — большая блестящая маслина с воткнутой в нее зубочисткой¹. И большинство этих деловых людей тоже были в трауре.

Это загадочное обстоятельство долго мучило нас. И только к вечеру мы узнали, что в Греции принято носить траур по умершим целых три года. А так как носят его даже по случаю смерти дальних родственников, то, в общем, всегда находится уважительная причина для того, чтобы надеть на рукав траурную ленту. И если афинянин носит траур, то это вовсе не значит, что он переживает сильное горе, что он безутешен. Просто два с половиной года назад на острове Хиос умерла троюродная бабушка второй жены его брата, имя и фамилию которой он даже успел забыть, не то Мирона Сиони, не то Калиопа Синаки. Только и всего.

Проехав всю улицу Стадио и отдалившись на порядочное расстояние от Павлидиса, мы вышли на большой площади, сплошь заставленной ресторанными столиками. Обычно на городских площадях стоят памятники, либо бьют фонтаны, либо находятся стоянки автомобилей. Но в Афинах многие площади сдаются под кофейни. Столиков в городе так много, что если бы все торгующее население Афин бросило свои несложные дела по продаже лотерейных билетов и старых лезвий и уселось бы в кофейнях, то и тогда осталось бы еще много свободных мест.

Перед президентским дворцом, у могилы неизвестного солдата, под большими полосатыми зонтами стояли на карауле два евзона в парадных гофрированных юбках, белых оперных трико и чувьяках с громадными пушистыми помпонами. На стене, позади могилы, были высечены названия мест, где греческие воины одержали победы. Список начинался чуть ли не с Фермопил и кончался Одессой и Херсоном.

По поводу Фермопил нам не хотелось бы втягиваться в длинный и скучный спор с местными историографами, но что касается Одессы и Хер-

¹ Сначала съедают маслину, а потом в течение последующих четырех-пяти часов пребывания в кафе зубочисткой озабоченно ковыряют в зубах — вот время мало-помалу и проходит.

сона, то в девятнадцатом году мы случайно оказались скромными свидетелями победоносных операций греческих интервентов. Мы не специалисты военного дела, но, на наш дилетантский взгляд, никогда еще ни одна регулярная армия не отступала с такой быстротой, галдежом и суетливостью. Интервенты бежали через город в порт, с лихорадочной быстротой продавая по пути коренному населению Одессы английские обмотки, французские винтовки и обозных мулов. Они предлагали даже пушки, однако пресыщенные одеситы вежливо отказывались.

Но здесь не с кем было поговорить на эту интересную историческую тему. Палило солнце, и белокурые евзоны неподвижно стояли в тени своих зонтов.

В это время мы явственно почувствовали присутствие в эфире постороннего тела. Так и есть! К нам, размахивая шляпой, подбежал Павлидис. — Любуетесь на наемников капитала? — спросил он, задыхаясь.

Черт знает, до чего однообразный человек был этот Павлидис! В конце концов столичная полиция могла бы прикрепить к нам более способного агента. Этот выражался как положительный персонаж из плохой рапповской пьесы. Он все время клеймил капитал и в суконных выражениях обличал буржуазию. Избавиться от него было невозможно. Он настигал нас всюду.

Когда мы смотрели на президентский дворец, он стоял позади и шептал, дыша нам в затылок:

— Хорошо бы его взорвать. А? Хоть одну хорошую бомбочку? А? А то пойдем тут за угол, там такие носки и галстуки продаются. Даром! Английский товар! А? Там же увидите, какой кризис раздирает капиталистическое общество.

Очевидно, Павлидис по совместительству был еще комиссионером какой-то галантерейно-трикотажной фирмы. И обе свои должности он с неслыханным усердием исправлял одновременно. Кончилось тем, что мы махнули на него рукой.

В городе всюду видны были советские моряки. Они шагали парами и группами, раз по двадцать в день встречаясь друг с другом и снова расходясь. Они подымались на Акрополь, чуть-чуть вразвалку проходили базарные улицы, толпились у входа в Национальную галерею и заходили в магазины. И куда бы они ни шли, вокруг них понемножку собирались кучки рабочих. К середине дня сами по себе образовались несколько демонстраций. Запевали «Интернационал», и на Акрополе, куда пришла большая экскурсия краснофлотцев, афинские рабочие, люди южные и горячие, уже били троцкистов, пытавшихся вернуть свои лозунги. Мо-

ряки с литвиновской дипломатичностью любовались Парфеноном и Пропилеями и шли дальше. Достаточно было морякам задержаться где-нибудь на несколько минут, как возле них начиналось нечто вроде митинга. Моряки, бегло улыбаясь, сейчас же удалялись, но толпа уже не расходилась, начинались споры, пускались в ход кулаки, появлялась полиция.

В дни стоянки отряда советских кораблей каждая синяя краснофлотская форменка в глазах греческих рабочих превращалась в красный флаг.

Увидя одно из таких рабочих шествий, Павлидис, не отстававший от нас ни на шаг, поспешил произнести красивую напыщенную фразу:

— Вот идут мои братья по классу.

И тут же он убежал в какую-то подворотню. Видимо, встреча с братьями по классу не входила в его планы. Пользуясь счастливой возможностью побыть немножко без нашего друга Павлидиса, мы быстро свернули на кривую и грязную улицу Фемистокла, промчались мимо кафе «Посейдон», кино «Пантеон», мебелированных комнат «Парфенон» и слесарной мастерской «Марафон» и укрылись в небольшом ресторане. Не успели мы усесться за столик возле окна, как мимо ресторана, придерживая шляпу рукой, проскакал Павлидис.

В ресторане было тихо, пусто и прохладно. С улицы вошел седой старик с черными бровями. От подбородка до ног он был увешан большими и маленькими мягкими губками. Из уважения к старости пришлось купить у него губку. Сгоряча мы выбрали самую большую. Спрятать ее было некуда. Так мы и пошли с ней потом на Акрополь, как в баню.

Подошел официант и принял от нас заказ, который мы изложили ему при помощи кошмарной смеси английского, французского и итальянского языков.

— Инглиш? — спросил официант. — Френч? Итэлъен?

— Рус, — ответили мы.

— Рус? — переспросил официант.

— Рус. Совет.

Официант внезапно покраснел.

— Ура, ура, ура, — сказал он вдруг вполголоса, но с большим выражением. — Ура, ура, ура, — быстро повторил он с тем же ударением.

И он посмотрел на нас таким обожающим взглядом, что нам стало совестно.

Он взволнованно ходил вокруг нас, подал какое-то дешевое превосходное вино, приводил к столу официантов из соседнего кафе и что-то им рассказывал. Они стояли кучкой поодаль. Потом один из них подошел и

молча нарисовал на мраморе столика сери и молот. А когда мы уже расплачивались, наш официант осторожно сунул нам записочку на английском языке: «Товарищи, мы здесь боремся за Советский Союз». Сказать правду, мы даже расстроились и, уйдя из ресторанчика, долго еще молча шли по улицам. Думаем, что и Яков Иванович Озоли, командир Красного флота, тоже хорошо помнит эту замечательную сцену. А записку мы храним как самое теплое воспоминание о Греции.

Все-таки Павлидис отравил нам последние часы, проведенные в Афинах.

Мы бродили по Акрополю среди его опрятных руин. Фотограф-пушкарь, точь-в-точь такой же, как и его собрат с Тверского бульвара, только немножко более смуглый, направил свою фанерную камеру на пожилую английскую девушку. Из московских атрибутов фотографу не хватало только полотняного фона с намалеванными на нем балюстрадами, беседками и дирижаблем. Но здесь этого не требовалось. Декорацию заменили кариатиды Эрехтейона.

Мы много раз обошли маленькую площадку Акрополя и, пройдя по щербатым плитам Парфенона, расселись на его нагретых солнцем гигантских ступенях. Странное и немножко грустное чувство охватило нас.

«В конце концов, — думал каждый из нас, — здесь, на этом небольшом кусочке земли, было очень много начато. И философия, и архитектура, и литература, и театр. Может быть, с этого самого места, на котором мы сидим, и в этот самый час Сократ задумчиво смотрел на залив, а может быть, смотрел на залив Гераклит, начиная подумывать о том, что все течет, что все меняется...»

В общем, в голову лезли торжественные и приятные, но, к сожалению, общеизвестные мысли.

И когда мы окончательно разнежались и собрались было поделиться друг с другом соображениями насчет того, что вот уже две с половиной тысячи лет солнце освещает парфенонские мраморы, из-за колонны раздался знакомый голос:

— Здесь разлагалась древнегреческая буржуазия. Здесь попы и жрецы отравляли сознание...

Мы с тоской оглянулись. Из-за колонны выступил Павлидис. На его потном лице застыла добродушная полицейская улыбка.

— Одну минуточку, — сказал он. — Есть красивые вязаные кофточки, подарок женам и дочерям...

Мы бросились к выходу, делая большие прыжки по лестнице Пропилеев. За нами, подымая мраморную пыль, гнался Павлидис.

Утром крейсер снялся с якоря. Загремели выстрелы прощального салюта. Крейсер хорошим ходом пошел в море, и через час Афины, провинциальные Афины, где так много нищеты, солнца, древнего величия и революционной страсти, скрылись из виду.

ДОРОГА В НЬЮ-ЙОРК

В девять часов утра из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров «Нормандии», самого нового, большого и быстрого океанского парохода в мире. Поезд идет без остановок и через три часа вкатывается в здание Гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже «Нормандия». Каков ее внешний вид, — пассажирам неизвестно, потому что пароход они так и не увидели.

Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх, застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз, не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки. Спустившись на три этажа, вместо того, чтобы подняться на два, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесенную, однако, на французском языке: «Лифт не работает». В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплошь покрытой нестерпаемым каучуковым ковром светло-зеленого цвета. Таким же материалом устланы коридоры и вестибюли парохода. Шаг делается мягким и неслышным. Это приятно. Но по-настоящему начинаешь ценить достоинства каучукового настила во время качки: на нем нельзя поскользнуться, подошвы как бы прилипают к нему.

Лестница была совсем не пароходного типа — широкая и пологая; с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома.

Кабюта была тоже какая-то не пароходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкапами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами вплоть до телефона. И вообще «Нормандия» похожа на пароход только в шторм — тогда ее хоть немного качает. А в тихую погоду это только колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно

сорвалась с набережной модного курорта и со скоростью тридцати миль в час поплыла в Америку.

Глубоко внизу, со всех этажей вокзала, провожающие выкрикивали свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански. По-русски тоже кричали. Странный человек в черном морском мундире с серебряным якорем и щитом Давида на рукаве, в берете и с печальной бородкой кричал что-то по-еврейски, перегнувшись через борт; потом выяснилось, что это пароходный раввин, которого Генеральная трансатлантическая компания содержит на службе для удовлетворения духовных потребностей некоторой части пассажиров. Для другой части имеются наготове католический и протестантский священники. Мусульмане, огнепоклонники и советские инженеры едут как попало. В духовном отношении Генеральная трансатлантическая компания предоставила их самим себе. На «Нормандии» есть довольно большая католическая церковь, озаряемая чрезвычайно удобным для молитвы электрическим полусветом. Алтарь и религиозные изображения могут быть закрыты специальными щитами, и тогда церковь автоматически превращается в протестантскую. Что же касается раввина с печальной бородкой, то отдельного помещения ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате, так сказать, в порядке уплотнения. Для этой цели Компания выдает ему талес и особую драпировку, которой он закрывает на время суетные изображения зайчиков и кошечек.

Пароход вышел из гавани. На набережной и на молу стояли толпы людей. К «Нормандии» еще не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру заблестели огни Саутгемптона. Полтора часа «Нормандия» простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окруженная с трех сторон далеким таинственным светом незнакомого города. А потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня невидимых волн, поднятых крепким ветром, и дала полный ход.

Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, лонгшезы, стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была такой сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе, электрическая лампочка, занавеска, воротничок, брошенный на кровать. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как самопроизвольно начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери,

стучит в окна, тяжело хохочет. Мы насчитали сто различных звуков, которые издавала наша каюта.

«Нормандия» делала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдет в док, ее корму разберут, и конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены. «Нормандия» возобновит свои рейсы весной будущего года.

Утром пришел матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался. Маленький грузовой пароход с трудом пробирался к французским берегам. Иногда он исчезал за волной, и были видны только кончики его мачт.

Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между Старым и Новым Светом очень оживлена, что то и дело навстречу попадают веселые пароходы с музыкой и флагами. На самом же деле океан — это штука величественная и пустынная, и пароходик, который штормовал в четырехстах милях от Европы, был единственным кораблем, который мы встретили за пять дней пути. «Нормандия» раскачивалась медленно и важно. Она шла, почти не уменьшив хода, уверенно расшвыривая высокие волны, которые лезли на нее со всех сторон, и только иногда отвешивала океану равномерные поклоны. Это не было борьбой мизерного создания человеческих рук с разбушевавшейся стихией. Это была схватка равного с равным.

В полукруглом курительном зале три знаменитых борца с расплюсченными ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из-под их жилетов торчали рубахи. Борцы мучительно думали. Из их ртов свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие с доски фигуры. Еще двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Ну кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит! Так оно и было. Симпатичные Ботвинники оказались советскими инженерами.

Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. Роздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутербродт, миссис Бутербродт и юный мистер Бутербродт. Если б на «Нормандии» ехал Маршак, он, наверно, написал бы стихи для детей под названием «Толстый мистер Бутербродт».

Вошли в Гольфштрэм. Шел теплый дождик.

Мы отправились осматривать пароход. Пассажиры третьего класса не видят парохода, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристский классы. Пассажир туристского класса тоже не видит «Нормандии», ему тоже не разрешается переходить границ. Между тем пер-

вый класс — это и есть «Нормандия». Он занимает по меньшей мере девять десятых всего парохода. Все громадно в первом классе: и палубы для прогулок, и рестораны, и салоны для курения, и салоны для игры в карты, и специальные дамские салоны, и оранжерея, где толстенькие американские воробьи прыгают на стеклянных ветвях и с потолка свисают сотни орхидей, и театр на четыреста мест, и бассейн для купанья с водой, подвешенной зелеными электрическими лампами, и торговая площадь с универсальным магазином, и спортивные залы, где пожилые лысоватые люди, лежа на спине, подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысоватые люди, уставши бросать мяч или скакать на цандеровской деревянной лошади, дремлют в расшитых креслах, и ковер в самом главном салоне весом в тридцать пудов. Даже трубы «Нормандии», которые, казалось бы, должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них находится комната для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скукают. Обычно их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан.

Мы опустились в кухню. Десятки поваров трудились у семнадцатиметровой электрической плиты. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготовлялась кошерная пицца. В ледяных кладовых хранились припасы. Там свирепствовал мороз.

«Нормандию» называют шедевром французской техники и искусства. Техника «Нормандии» действительно великолепна. Нельзя не восхищаться быстротой ее хода, ее противопожарным устройством, смелыми и элегантными линиями ее корпуса, ее радиостанцией. Но в области искусства французы знали лучшие времена. Безупречно выполнение живописи на стеклянных стенах, но самая живопись ничем особенным не блещет. Это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре, к мебели. Очень много золота, цветной кожи, красивых металлов, шелков, дорогого дерева, великолепного стекла. Очень много богатства и очень мало настоящего искусства. В общем, это то, что французские художники, безнадежно разводя руками, называют «стиль триумф». (Недавно в Париже, на Елисейских полях, открылось кафе «Триумф», пышно отделанное в будуарно-постельном роде.) Это жалко. Хотелось бы, чтобы в создании «Нормандии» партнерами замечательных французских инженеров были замечательные французские художники и архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть.

Некоторые недочеты в технике, например вибрацию на корме, испортившийся на полчаса лифт и другие досадные мелочи, надо поставить в вину не инженерам, строившим этот прекрасный корабль, а скорее нетерпеливым заказчикам, торопившимся начать эксплуатацию и во что бы то ни стало получить голубую ленту за рекордную быстроту.

Накануне прихода в Нью-Йорк состоялся парадный обед и вечер самодеятельности пассажиров. Обед был такой, как обычно, только добавили по ложке русской икры, называвшейся в меню «окра». Кроме того, пассажирам раздавали бумажные корсарские шляпы, хлопущки, значки в виде голубой ленты с надписью «Нормандия» и бумажники из искусственной кожи тоже с маркой Трансатлантической компании. Раздача подарков производится для того, чтобы уберечь пароходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что большинство путешественников одержимы психозом собирания сувениров. В первый рейс «Нормандии» пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. Уносили даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех пяти дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом надела на голову пиратскую шляпу, разрядила хлопущку и приколотла к груди значок. Как видно, она считала своим долгом добросовестно воспользоваться всеми благами, полагающимися ей по билету.

Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне. Потушили свет и навели прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви». Однако девица пела так тихо и плохо, что ее нежный привет никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. В зале появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но босая. На лице ее был написан ужас. Это была босоножка-любительница. Зрители начали воровато выбираться из зала. Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную, талантливую горластую самодеятельность.

На пятый день пути палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными из кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст — после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани сто двухэтажного «Эмпайр Стейт Билдинг». Четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначилась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец, он окончательно стал на свое место, невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный.

Пассажиры сошли по закрытым сходням в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицы города, так и не увидев корабля, на котором приехали.

АМЕРИКАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Америка готовилась к рождеству. В маленьких городках перед магазинами уже сияли разноцветные электрические лампочки картонных елок, надетых на уличные фонари. Традиционный Санта Клаус, добрый рождественский дед с большой белой бородой, разъезжал по улицам в раззолоченной колеснице. Электрические вентиляторы выбрасывали из нутра колесницы искусственный снег. Хоры радиоангелов исполняли старые английские песни. Санта Клаус держал в руках плакат универсального магазина: «Рождественские подарки — в кредит». Газеты писали, что предпраздничная торговля идет лучше, чем в прошлом году.

Чем дальше мы подвигались по направлению к Калифорнии, чем жарче становилось солнце, а небо чище и голубее, тем больше было искусственного снега, картонных елей, седых бород, тем шире становился кредит на покупку рождественских подарков.

Резкий и сильный свет пустыни лежал на превосходной дороге, ведущей во Флагстаф. У края дороги, подняв кверху большой палец руки, стоял человек с чемоданчиком.

В характере американцев есть много прекрасных черт. Они очень общительны, доброжелательны и всегда готовы услужить. Когда вам оказывают помощь, ну, скажем, вытаскивают из канавы ваш автомобиль, то делается это просто, скромно, быстро, без расчета на благодарность, даже словесную. Помог, отпустил шутку и отправился дальше.

Поднятый большой палец обозначает просьбу подвезти. Этот сигнал сделался такой же неотъемлемой частью американского автомобилизма, как дорожные знаки, указывающие поворот, или предел скорости, или пересечение с железной дорогой. И человек, стоящий у дороги, нисколько не сомневается, что его подвезут. Так можно сделать несколько тысяч миль. С одной машиной пятьдесят, с другой сто, с третьей и все пятьсот.

Для писателя, ловца душ и сюжетов, такой обычай представляет большие удобства. Герои сами лезут к вам в автомобиль и сразу же охотно выкладывают историю своей жизни.

Мы остановились. Человеку с чемоданчиком надо было попасть в Сан-Диего, Калифорния. До Флагстафа нам было по пути. Новый спутник, согнувшись, влез в машину, положил на колени свой багаж и, дождавшись вопроса о том, кто он такой и откуда едет, принялся рассказывать.

Он родом из штата Массачусетс. Там работал всю жизнь, был слесарем. Четыре года назад переехал в другой город, сразу же потерял работу, и на этом кончилась его старая жизнь. Началась новая, к которой он никак не может привыкнуть. Все время он ездит в поисках какого-нибудь дела.

Много раз он пересек страну от океана до океана, но работы не нашел. Иногда его берут в автомобиль, однако чаще он ездит с бродягами в товарных вагонах. Это быстрее. Но он сам не бродяга. Он несколько раз с упорством повторил, что он не бродяга. Видимо, его уже не раз принимали за бродягу.

Пособия ему не дают, потому что он не имеет постоянного места жительства.

— Я очень часто встречаю таких вот людей вроде меня, — сказал он, — и среди них есть даже люди с высшим образованием — доктора, юристы. С одним таким доктором я очень подружился, и мы скитались вместе. Потом мы решили написать книгу. Мы хотели, чтобы весь мир узнал, как мы живем. Мы стали каждый день записывать все, что мы видели. У нас было уже много написано. Я слышал, что если выпустить книгу, то за это хорошо заплатят. Однажды мы попали в штат Небраска. Здесь нас поймали в вагоне, нашли у нас рукопись, разорвали ее, а нас побили и выбросили вон. Вот так я живу.

Он не жаловался. Не в характере американца жаловаться. Он просто рассказывал. С тою же простотой, с какой предыдущий наш пассажир (между Оклахомой и Санта-Фе), молодой моряк, рассказывал о том, как они с приятелем едут из Нью-Йорка в Сан-Франциско, как они собирались пробыть в Чикаго три часа, а потом познакомились там с какими-то девушками и неожиданно застряли на неделю. Моряк не хвастался, безработный не искал сочувствия.

Человек выпал из общества. Естественно, он находит, что общественный строй надо изменить. Что же надо сделать?

— Надо отобрать у богатых людей их богатства.

Мы стали слушать его еще внимательней. Он сердито ударил большим грязным кулаком по спинке сиденья и повторил:

— Отобрать деньги! Да, да! Отобрать деньги и оставить им только по пять миллионов! Безработным дать по кусочку земли, чтоб они могли добывать хлеб и есть его, а им оставить только по пять миллионов.

Мы спросили, не много ли это — по пять миллионов?

Но он был тверд.

— Нет, надо им все-таки оставить по пять миллионов. Меньше нельзя.

— Кто же отберет эти богатства?

— Отберут! Рузвельт отберет. Пусть только выберут его второй раз президентом. Он это сделает.

— А если конгресс не позволит?

— Ну, конгресс согласится! Ведь это справедливая штука. Как же можно не согласиться? Тут дело ясное.

Он был так увлечен этой примитивной идеей, ему так хотелось, чтобы вдруг, сама собой, исчезла несправедливость, чтобы всем стало хорошо, что даже не желал думать о том, как все это может произойти. Это был настоящий ребенок, которому хочется, чтобы все было сделано из шоколада и что стоит только попросить доброго Санта Клауса, как все волшебным изменится. Санта Клаус примчится на своих картонных, посеребренных оленях, устроит теплую снежную пургу — и все образуется. Конгресс согласится, Рузвельт вежливо отберет миллиарды, а богачи с кроткими улыбками эти миллиарды отдадут.

Миллионы американцев находятся под властью таких детских идей.

Как на веки вечные избавиться от кризиса?

О, это совсем не так трудно. Государство должно давать каждому старику, достигшему шестидесяти лет, по двести долларов в месяц, с условием, чтобы эти деньги он обязательно тратил. Тогда покупательная способность населения возрастет в неслыханных размерах, и депрессия немедленно кончится. Заодно старики будут замечательно хорошо жить. Все ясно и просто. Как все это делается, — не так уж важно. Старикам до такой степени хочется получить по двести долларов в месяц, а молодым так хочется, чтобы депрессия кончилась и они, наконец, получили работу, что они с удовольствием верят всему. И утверждают, что Таундсенд, изобретатель этого чудодейственного средства, в самый короткий срок завоевал пятнадцать миллионов горячих приверженцев.

По всей стране созданы таундсендовские клубы и комитеты. И так как выборы президента приближаются, то таундсендовская идея обогатилась новой поправкой. Теперь предлагают выдавать по двести долларов каждому человеку, достигшему пятидесяти пяти лет.

Гипноз простых цифр действует с невероятной силой. В самом деле, какой ребенок не мечтал о том, как было бы хорошо, если бы каждый взрослый дал ему по копейке. Взрослым это ничего не стоит, а у него, ребенка, была бы куча денег.

Здесь не говорится ни о передовых американских рабочих, ни о радикальной интеллигенции. Речь идет о так называемом среднем американце — главном покупателе и главном избирателе. Это простой, чрезвычайно демократический человек. Он умеет работать и работает много. Он любит свою жену и своих детей, слушает радио, часто ходит в кино и очень мало читает. Кроме того, он очень уважает деньги. Он не питает к ним страсти скупца, он их уважает, как уважают в семье дядю — известного профессора. И он хочет, чтобы в мире все было так же просто и понятно, как у него в доме.

Когда ему продают комнатный рефрижератор, или электрическую плиту, или пылесос, то продавец никогда не пускается в отвлеченные рассуждения. Он точно и деловито объясняет, сколько центов в час будет стоить электрическая энергия, какой придется дать задаток и какая получится от всего этого экономия. Покупатель хочет знать цифры, выгоду, выраженную в долларах.

Таким же способом ему продают политическую идею. Ничего отвлеченного, никакой философии. Он дает голос, а ему обещают двести долларов в месяц или обещают уравнивать богатства. Это — цифры. Это понятно. На это он пойдет. Он, конечно, будет очень удивлен, когда заметит, что эти идеи работают совсем не так добросовестно, как рефрижератор или пылесос. Но сейчас он еще верит в них.

Во Флагстафе мы попрощались с нашим попутчиком.

Когда он вылез из автомобиля, мы увидели, до какой степени бедности дошел этот человек. Его драное пальто было в пуху, зеленоватые щеки были давно небриты, в его ушах скопилась пыль Пенсильвании, Канзаса, Оклахомы. Когда он прощался, на его скорбном лице появилась оптимистическая улыбка.

— Скоро все пойдет хорошо, — сказал он. — А им — по пять миллионов, и ни цента больше.

Илья Ильф и Евгений Петров

Поездки и встречи

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*
Редактор *К. Мкртчян*
Художественный редактор *О. Скочко*
Корректоры *Н. Голубцова, О. Крендясова,*
Е. Пищулина, Ю. Баклакова
Компьютерная верстка *Е. Яковенко*
Архивариус *Р. Сергеева*

Подписано в печать 24.12.07 г.
Формат 70x108 ¹/₃₂. Бумага газетная.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.
Тираж 60 000 экз. Заказ № 0721550.

ТЕРРА—Книжный клуб.
127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

Универсальный словарь: В 4 томах	1390 р.	Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах	74400 р.	Монтень М. Опыты: В 3 книгах	890 р.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах	68000 р.	Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
Детская энциклопедия: В 10 томах	4620 р.	О. Генри. Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах	2250 р.	Островский А. Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
Авенариус В. Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	Песков В. Сочинения: В 9 томах	2520 р.
Алданов М. Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах	1450 р.
Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	Ремарк Э. М. Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	Сабанеев А. Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	Сабатини Р. Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
Горький М. Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	Сименон Ж. Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
Карамзин Н. Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
Купер Ф. Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
Лесков Н. Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
		Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.